

К

ТО-ТО сказала ей, что, если поведать звездам самое сокровенное желание, оно исполнится. Неслышно, стараясь не разбудить братцев, девочка спешит к окну. «Хочу быть певицей!» — шепчет она. «Хочу стать певицей», — пишет она на стволах берез...

Девочку зовут Машенька Оленина... Как давно это было!

А сегодня Мария Алексеевна Оленина-д'Альгейм готовится отметить свой юбилей. 19 сентября (1 октября по новому стилю) ей исполняется сто лет.

Выдающаяся русская певица, она пела Чайковскому и Лвву Толстому, ей аплодировали Массне и Карл Метнер, о ней с восторгом писал Кюи, ей внимал Париж и Лондон, Берген и Брюссель... Бессребреница, безоглядно и щедро отдавшая себя искусству. Так уж сложилась жизнь, что много лет пришлось ей жить во Франции. Там пережила вторую мировую войну, там в семьдесят пять лет вступила в компартию, там собирала подписи под Стокгольмским воззванием, там, в рабочих кварталах Парижа, распространяла «Юманите». Но кровные узы с родиной не порывались никогда. Мария Алексеевна вернулась в Москву. Сейчас она — пенсионер союзного значения, живет на Ленинском проспекте.

...И вот стою перед дверью, немного робею. Согласитесь: за окном светится обычный сегодняшний день, а в доме меня ждет современница Стасова и Чайковского. Не часто выпадает такое.

Просторная трехкомнатная квартира. В комнате певицы — ничего лишнего: пианино, трюмо, удобное кресло. Два портрета на стенах. Два самых дорогих ее сердцу человека — Ленин и Мусоргский.

«Не задерживайтесь, не утомляйте ее», — предупредили меня. Я обещала и пыталась сдержать слово. Но Мария Алексеевна не отпустила меня. «Я никогда не утомляюсь, с живыми о живых говоря», — сказала она. Ее память хранила бездну имен, событий...

Она вспоминала события вековой давности так, словно это было вчера. И лишь один раз сокрушенно заметила: «Стареть начала. Напомните-ка мне отчество Рахманинова...»

Мы проговорили три часа. Точнее, говорила она, а я жадно слушала каждое слово. Вот ее рассказ.

— В тот год был сильный пролет вальдшнепов. Мои родители были на охоте. Вечером 19 сентября, сто лет назад, они вернулись поздно вечером. Мама, видимо, устала, и... вот тут-то я появилась на свет — крохотное семимесячное существо. Повивальная бабка, решив, что я не жилец на этом свете, занялась моей матерью. Меня же, немытую, положили на диван перед жарким камином. Но, как видите, я не умерла.

Жили мы на Волге, в Истомине. Отец купил имение и сделал из него виллу на итальянский манер. Как сейчас вижу цветущие гиацинты, пирамидальные тополя со скворечниками, беседку у пруда. Помню воздушный клубничный пирог со сливками, звон колоколов, зимой ряженых, катанье на тройках...

Все мои братья и сестры были одарены. Саша сочинял музыку, Петя переводил из Шелли и Байрона, Варя рисовала. А я больше всего на свете любила петь. Песни моим воображением были расставлены по всем углам детской. С песней я ложилась и вставала. Я ловила все окружающие звуки. Ночной концерт птиц и колыбельный писк напоминали мне скрипичное пиччикато. Мне рассказывали, что еще младенцем, не умея говорить, я пыталась петь, подражая птицам.

Заботы старших не тревожили нас. Между тем состояние наше испарилось. Отец, большой любитель по-веселиться, не умел вести хозяйство. Мать помогала деньгами своей сестре. Только старая няня ворчала: «Ваша-то мать чужие крыши кроет, а своя течет». Скоро мы переехали в Москву. Отец получил пост директора Строгановского училища. Жили мы тогда на Страстном бульваре, в знаменитом «фаузовском» доме. Часто выезжали в Малый театр... Жизнь в столице была нам, детям, по душе. Но через три года отец бросил Строгановское и решил стать директором рыбных промыслов в Астрахани. Как же мало он любил искусство, чтобы так скоро ему изменять! Мы очень страдали, но нас никто не спрашивал. Семья вернулась в Истомуно. Не зря говорят: что два переезда — что один пожар. Возвращение было связано с большими потерями. В пути затерялся ящик с богемским хрусталем, который очень дорожила мама, а вместо него пришел ящик... с тульскими гармошками. К ужасу мамы и к нашей радости.

Снова потянулась жизнь в провинции. Саша музицировал, Варя рисовала, я пела. Саша хотел серьезно заняться музыкой под руководством кого-нибудь из «Могучей кучки». И вот мы в Петербурге — отец, Саша и я. Однажды вечером отец поехал к Балакиреву поговорить. Мы остались ждать. Скоро он вернулся и велел нам быстренько собираться: «Нас ждут у Балакирева!» А случилось вот что. В тот вечер друзья чувствовали Чайковского, вернувшегося из-за границы. Когда слуга доложил, что приехал господин Оленин, Стасов (а он тоже был среди гостей) вышел к отцу:

— Вы Оленин? Не в родстве ли вы с девочкой, что приехала из провинции и берет уроки у Платоновой? Говорят, у нее феноменальная память, она всех «наших» поет наизусть!

— Это моя дочь.

— Что же вы стоите? Везите ее сюда, мы охотно слушаем.

Тот памятный вечер стал моим дебютом в Петербурге и первым знакомством с «кучкистами». Я спела романсы Римского, Бородина, Кюи, романс Чайковского «Забудь так скоро!». Потом хозяин повел нас ужинать. Поскольку я была единственной дамой, он усадил меня по правую руку. А потом, когда мы прощались, Стасов напутствовал меня: «Смотрите, мы многого ждем от вас...»

Так прошло детство. Нет, детство не проходит никогда. Оно лишь меняет форму: сперва мы бываем в детстве, потом детство бывает в нас. И мы бережем его в душе как источник всего лучшего и чистого, что есть в человеке. Вы никогда не замечали, почему именно в детстве случаи, кажется, незначительные, оставляют в душе неизгладимый след?

Однажды к нашему порогу пришел нищий, за милостыней. Я полетела в детскую, открыла копилку. А там вместо горсти медных монет лежал один новенький серебряный рубль. Я взяла этот рубль, подумала... и положила назад. Пожалела! Стыд потом долго душил меня. Не знаю, возможно, с тех пор я возненавидела власть денег над человеком.

А за что я полюбила Мусоргского? Это тоже началось в детстве.

...Стоял дивный теплый вечер. Я гуляла в саду и вдруг услышала щемящее душу пение. Шли крестьянки. Их песня была, как плач. И подумалось мне, что эти женщины каждый день от юности до старости тяжко несут свой жизненный крест. Потом я страстно полюбила музыку Мусоргского за то, что он, как никто другой, сумел выразить душу и долю народную.

Кстати, мой муж, французский журналист Пьер д'Альгейм, был прекрасным знатоком Мусоргского, автором монографии о нем. Соединив с Пьером свою судьбу, я не только не покинула артистического пути, но еще больше укрепилась в нем. Наш брак был творческим союзом. Всю нашу жизнь мы пропагандировали за рубежом русскую музыку, особенно Мусоргского. Во Франции, Швейцарии, Англии, Норвегии, Бельгии — всюду Пьер читал лекции, а я пела. Иные певцы уверяют, что народ не понимает Мусоргского. Это неправда. Я помню, как однажды в Брюсселе, в рабочем клубе, я спела наизусть оперу «Хованщина» (диапазон голоса позволял мне исполнить все партии). И люди слушали с волнением и вниманием с восьми часов вечера до полуночи.

Труднодоступность Мусоргского — вымысел тех, кто в пении ценит лишь себя, поет только легонькое, обкатанное. Публику приучают восхищаться голосовой гимнастикой. Нет, я считаю, что певец начинается с репертуара. Не столь важно, как исполнять, важнее, что исполнять. Посредственное произведение, как его ни пой, не станет талантливым, так же как медь не станет золотом, как ее ни полируй.



Мария Оленина-д'Альгейм, 98-е годы

интервью «Литературной России»

Мария ОЛЕНИНА-Д'АЛЬГЕЙМ:

ЦЕЛЬ МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛА— ЗНАКОМИТЬ ЛЮДЕЙ С РУССКОЙ МУЗЫКОЙ

Когда я выходила на сцену, начиналась моя вторая жизнь. Поклоны и аплодисменты никогда не любила, старалась отучить публику от хлопанья в ладоши. Мне дороже тишина после каждого номера. Те несколько секунд святой тишины, когда только что прозвучавшее произведение еще тревожит души слушателей.

Не любила я и декольтированных платьев, патетических жестов. В Париже в сундуке бабушки Пьера я как-то нашла настоящую испанскую мантилью. Вот в ней я и выходила на эстраду. Право, смешно вспомнить, но парижские модницы сразу подхватили пример, и я невольно оказалась «законодательницей» мод.

Работали мы с Пьером много, но денег никогда не было. За границей меня прозвали «уникумом». Не только за мою музыкальную память, но и за неумение вести свои финансовые дела. Я отказалась от контракта с «Опера-комик», так как не хотела быть «невольницей». Цель моей жизни была — знакомить людей с русской музыкой, открыть ее несравненную глубину и человечность. Мы с Пьером никогда не назначали высоких цен на билеты, бесплатно раздавали программы-проспекты. Я не давала концертов в очень больших залах. Там, где огромный зал, — прощай глубокая и тайное волнение, которое дает общение с музыкой. Я помню, как Гектор Берлиоз говорил директору «Опера-комик»: «Нам невозможно понять друг друга: мы — артисты, вы — коммерсанты». Вот так же думали и мы с Пьером.

До отъезда за границу я много работала дома, в России. Концерты, создание «Дома песни», вечера с участием Брюсова, Андрея Белого, конкурсы на лучший перевод текстов классических зарубежных романсов — вот чем я тогда жила.

Революцию и гражданскую войну мы с Пьером встретили в России. Он беспокоился о том, как теперь во Франции, и его влекло туда. Мне пришлось уехать с ним. Но родина всегда была жива в моем сердце.

Через несколько лет Пьер умер. После смерти дочери это была самая тяжелая утрата. Пьер принес мне в жертву многие свои личные планы. Он дал мне испытать, что дружба — высшее благо на земле. Я поняла, что нет ничего ценнее, чем бескорыстная привязанность человека к человеку.

Много интересных людей встречалось мне за долгую жизнь.

...Ранним морозным утром по приглашению Софьи Андреевны Толстой мы приехали в Ясную Поляну. После завтрака Лев Николаевич предложил нам прогулку в розвальнях в лес, к незамерзающему роднику, который он выкопал где-то в овраге. Поехали. Мороз трескучий, сугробы намело высокие. «Ну, кто со мной?» — спросил Толстой, когда мы подъехали к месту. Мы с Пьером полезли, по колено увязая в снегу. Остановились у родника, и Толстой сказал: «Вот!» Слезы стояли у него в глазах.

За вечерним чаем он сел напротив меня, и я смотрела на него во все свои близорукие глаза. Потом мне сказали, что он любит, когда собеседник смотрит ему прямо в глаза. Часов в девять графиня подвела меня к роялю. Там уже был Гольденвейзер. Я спела романсы Шумана, Шуберта, а потом «Детскую» Мусоргского.

— Не понимаю, как музыка может так точно передавать, рассказать движение? — спросил Лев Николаевич.

— Так же, как слово писателя, — ответила я. Затем я спела «Полководца» на французском языке (русского текста у меня еще не было). Когда я кончила, Толстой спросил, кто это написал. Я назвала Мусоргского. Толстой воскликнул: «Как же мне толкуют, что Мусоргский плохой композитор? То, что мы сейчас слышали, больше, чем прекрасно».

...Знала я и Федора Ивановича Шаляпина, много раз встречалась с ним. Талант его был богатырский. Артист! Чего стоила одна его походка, когда он играл Годунова!

Еще с одним необыкновенным талантом посчастливилось мне встретиться. Я говорю о сказительнице Ирине Федосовой. В ней гармонично сливались чудесная артистка и прекрасный человек. Искренность, беспредельная, идущая от сути этого народного характера. Ничего придуманного. Два дня подряд я была на ее концертах. Пела она одну и ту же старинную былинку, но все по-разному, нигде не повторившись. Я спросила, почему она меняет текст.

— А как же, милая? Вчера сумрачно было, дождливо, а ныне солнышко. Вот и рассказ другой.

«Надо понять, тогда и голос бежит», — услышала я от Федосовой. Услышала и запомнила навсегда.

Последние мои гастроли в Москве и Ленинграде прошли в 1926 году. Вернувшись во Францию, выступала все реже и реже. Последний концерт состоялся во время войны в частном доме. Весь сбор — для бойцов Сопротивления...

Два богатства есть у меня, нажитых за долгую жизнь, — совесть и память. Как счастлива я, что снова дома, как бесконечно благодарна нашему правительству. Только человек, вновь обретший родину, может меня понять. Смысл фразы «искусство принадлежит народу», к которой вы все так привыкли, я вижу во всей глубине и величии. Я видела, как на Западе искусство бьется в тисках коммерции. Искусство там — вещь дорогая, недоступная для большинства. Но разве можно жить без искусства? Оно нужно людям, как пища и воздух. От всего может отказаться человек, но отказаться творить прекрасное, анимать прекрасному — выше его сил.

Интервью вела Елизавета СУМЛЕНОВА